

Рукописи, присланные без обозначения условий, оплачиваются по определению редакции. Возвращение рукописей не обязательно. Редакция просит фотографов-любителей и профессиональных присылать отчетливые снимки выдающихся событий. Помещенные в журнал фотографии оплачиваются по принятой редакцией расценке.

Еженедельный художественно-литературный
ЖУРНАЛЪ
ОГОНЬКА
Годъ издания II-й.

Цѣна „Огонька“
въ розничной продажѣ:
въ Петроградѣ 75 коп.
вънѣ Петрограда 80 коп.
на ст. жел. дор. 85 коп.
—
Редакция „Огонька“
Петроградъ, Офицерская ул.
№ 54.

№ 9

Воскресенье, 5 мая (22 апрѣля) 1918 г.

№ 9

Перепечатка литературнаго, художественнаго и фотографическаго матеріала „Огонька“ безъ полнаго указанія источника воспрещается (законъ 20 марта 1911 г.).

Рис. худ. С. ЛУЗАНОВА.

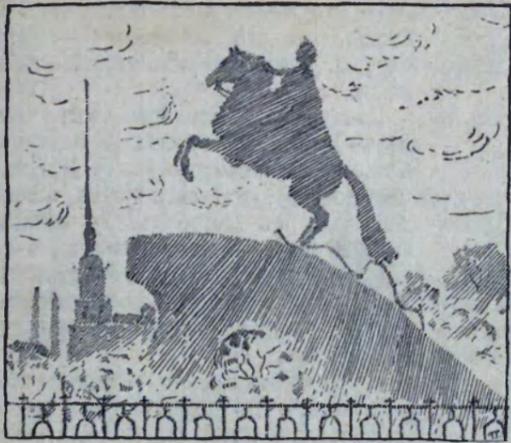


Тучи.

Въ небѣ черныя тучи,
Словно черныя птицы,
За туманное поле
Вольной стаей летятъ.
О счастливыя! Чужды
Имъ земныя невзгоды:
Нѣтъ имъ дѣла до счастья
И до горя людей.
Мы въ оковахъ неволи
Безысходной томимся,
Въ мукахъ тяжкаго рабства
Задыхаемся мы.
Стаи тучъ улетають
Въ голубые просторы,
Прочь отъ насъ — отъ позора
Нашихъ думъ, нашихъ дѣлъ.
Надъ лѣсами, полями
Въ даль уносятся тучи,
Отдыхая на кручахъ
Мирно дремлющихъ горъ.
Колыбельною пѣсней
Ихъ баюкають сосны,
Дикимъ клекотомъ будятъ
Ихъ орлы на зарѣ.
Дальше, дальше! — надъ ширью
Вольношумнаго моря
Рѣютъ черныя крылья
Въ даль стремящихся тучъ.
О счастливыя! Чужды
Имъ земныя невзгоды:
Нѣтъ имъ дѣла до счастья
И до горя людей.

Л. АНДРУСОНЪ.

ГДЪ ОМЪ?



Р а з с к а з ь ЗИНАИДЫ ГИППИУСЬ.

Иллюстрации Т. ГИППИУСЬ.

Раннее февральское утро.

Одно из тѣхъ утръ начала февраля, которыхъ нынче не было. Нынче Петербургу приказали жить съ февральской середины. И провалили онъ начальныя дни свои.

Вотъ, вставало утро одного такого небывшаго, проваленнаго дня.

Сѣровато, не морозно—не оттепельно. Криво и нерѣшительно. Нодъ шинельнымъ, диконькимъ, небомъ—свѣтло-шинельная, снѣговая степь: набережная. Переходила она въ снѣговья плоскогорья, потомъ въ кряжи. Обрывисто падали кряжи въ Неву, опять въ снѣговую степь. И ей—ужь не было конца.

На нее, въ пролетъ площади, съ каменнымъ равнодушіемъ смотрѣлъ Исакій.

Каркали голодныя вороны въ тонкихъ прутьяхъ сквера. Цѣлились на дохлую лошадь, что тутъ валялась съ новаго года, а сегодня съ разсвѣта на ней рычали собаки; воронью все-таки было боязно. А летѣтъ къ рѣшеткѣ Лѣтняго сада, гдѣ тоже своя падаль—полное безразсудство: коренныя тамошнія вороны, районныя, исаакіевскимъ не дадутъ подступиться.

Проходили, пошатываясь, бабы: на сосѣднихъ улицахъ съ полуночи хвостились и теперь ползли домой. Продышаль туго полунисломанный автомобиль съ запозднившимися на грабежѣ товарищами. Все-таки свѣтлѣло, и вокругъ площадныхъ валовъ уже маячили куда никуда неидущія, не имѣющія никакихъ намѣреній, челоукообразныя существа въ капотахъ дикаго цвѣта.

Попадались маячившія и въ темномъ. Разныя были. Разныя, но схожія своей непритыкостью. Дѣлать совершенно нечего (и не хочется) даже въ бызальые дни. А въ небывалые, вѣдь, и быть-то какъ-то неловко.

Одно изъ маячившихъ сѣрыхъ существъ остановилось неподалеку отъ памятника, торчащаго середь снѣга. Остановилось такъ себѣ,—отчего-жъ не остановиться?

Смотрѣло кругловатыми глазами такъ себѣ,—отчего-жъ не смотрѣть?

Но застряло, глядя,—само не зная, что его удерживаетъ на мѣстѣ, что мѣшаетъ двинуться и вновь замаячить.

Оттого, что застряло—къ нему подошло другое, подобное, и тоже стало туда-же глядѣть. Безмолвіе хранили. И третье существо подошло, черненькое, помельче. Потомъ еще, длинное, темное, голошеѣе.

Стояли они заразно, потому что скоростоячихъ навилось до десятка, а тамъ и больше, и ужь съ другой стороны начало навиваться. Припадающія на ноги бабы, хвосты выстоявшія,—и тѣхъ заражало. Мальчишки, распыливъ глаза, смотрѣли куда всѣ, не зная, на что.

Плыло, какъ туманъ во снѣ, какъ шорохъ въ темнотѣ,—какъ невидимая муха приставала—плыло и воровчалось безымянное безпокойство. Досадное.

Наконецъ, одинъ, новый, сказалъ, лѣнливо вертя языкомъ:

— Чего?

Сосѣдъ откашлялся и повторилъ съ недоумѣніемъ:

— Чего — чего?

— Да чего-то не того,—сказалъ первый.

— Чего не того?

— Не этого, значить...

Рядомъ стоящій гуднулъ:

— Правильно... Вполнѣ, будто, чего-то не этого...

Куча зашелестѣла, почти радостно: безпокойство стало первый лпкъ свой намѣчать едва-едва. Въ чемъ оно. На что смотрѣли. Ужь было почти понятно: безпокойло, какъ всегда, непривычное измѣнившееся; по здѣсь, сейчасъ — перемѣна не въ томъ, что невидѣнное появилось, а что видѣнное провалилось.

Чего-то не хватало.

И въ слѣдующее мгновеніе визгливый бабій голосъ окончательно прорвалъ пухлую завѣсу надъ безпокойствомъ:

— Нѣ г у - т и !
Гляньте, царя - то нѣту-ти!

Кучу подняло, взмыло. Гуть, гулъ и крикъ, и вздыбъ—и облегченіе.

— Какъ есть!

— Схряпали!

— Не иначе, какъ на моторѣ!

— Числая работа! Ну и народъ!

— Пятаковъ - то, батюшки, пятаковъ-то изъ его сколько теперь надѣлаютъ!

— Воддакъ реквизиція! Это тебѣ не керенки, гумага грязная!

— И когда это они его, черти, срѣзали?

— Въ аккуратъ, срѣзали! Ишь, коня-то не осилили, конь-то вонъ онъ, за конемъ въ другу ночь прѣдутъ!

— По новѣшнимъ временамъ конь-то тяжелъ, ха-ха-ха! Фуражу нѣту!

Проталкивался одинъ черный, въ сѣрой папахѣ.

— Товарищи! Граждане! Дозвольте взглянуть! Какъ они срѣзали? А ноги-то? Ноги-то остались? Дозвольте обсмотрѣть! Слѣды работы должны быть. И на самомъ, и вообще, снѣгъ... Вѣдь ихъ не менѣе какъ челоукъ восемь...

Чернаго пропустили поближе любопытно взгудѣвъ, спохватившись.

— Ноги-то, ноги-то? И слѣды обязательно... Ужъ отъ слѣду не укроешься.. Работа сурьезная.

Ногъ, по изслѣдованію, не оказалось. Висѣла уздечка. Бахромилась мѣдная,—не то львиная, не то тигровая—шкура. Ногъ не было нигдѣ, ни малѣйшихъ.

— Да въ чемъ онъ обувь-то? Ежели сапоги,—очень просто, не оставлять.

— Вродѣ въ туфляхъ! — крикнулъ какой-то школьникъ. — Безъ сапоговъ! Я знаю!

Дѣлалось странно. Какъ это успѣли въ одну ночь съ ногами оторвать? Да и слѣдовъ, по крайней мѣрѣ такихъ, какихъ искалъ черный, не замѣчалось. Были въ грязномъ снѣгу дыры проваленныя, но это, можетъ, такъ. Можетъ, упало что, или само вытаяло. На людей не похоже.

Грудились, топтались, въ снѣгъ лѣзли. Одинъ доброволецъ, сзади, совсемъ вблизи, было, подтянулся.

— Куды? Тутъ разслѣдованье должно происходить, а ты куды? Товарищи, такое дѣло, царя слимонили, надо въ Смольный дать знать, комиссію чтобы совершенно немедленно...



— Ишь, обезпокойлся, царя слимонили, такъ тебѣ царя жалко? Самого бы тебя въ комиссію за эдакое...

— Какая комиссія? Гдѣ комиссія?—заоралъ, проталкиваясь, хлипкій паге-

некъ съ сипякомъ у глаза и съ винтовкой за плечомъ. Винтовки иглились за плечами и у другихъ, только что подбѣжавшихъ.

Передъ ними толпа шарахнулась, но сейчасъ же опять сомкнулась.



— Мы сами изъ комисси.— оралъ между тѣмъ хлипкій и для убѣдительности взялъ винтовку на руку,— По какому случаю этотъ саботажъ? Этого не вѣлно!

Завизжала баба:

— Штрѣлай, озоръ вырваная!

Отъ субатажниковъ слышимъ! Эку уйму добра посередь города сволокли, а онъ— субатажъ!

Тяжко вздыхая и скрипя, подползъ автомобиль. Остановился. Вылѣзли разномастные: кто въ пальто, кто въ куртѣ, кто въ шинели.

Ихъ тоже пропустили впередъ.

— Какъ это такъ—срѣзали?—сказалъ одинъ изъ курточниковъ.—Нигдѣ рѣзи не видать, инструмента, то-есть. Сидѣние гладкое. Точно какъ и не бывало никого на этой лошади.

Ближайшіе услышали, ахнули. Показался гулъ: Вотъ это ловкачи!—Сняли!—Да какъ онъ, не припаянъ, что-ль, былъ?—Ахъ вы, лѣше!

Кривая баба, что жадно стояла впереди, вдругъ выпростала мерзлую руку и перекрестилась. Зашептала что-то другой бабѣ, рядомъ. Та шатнулась отъ нея, дернула рукой, будто тоже хотѣла перекреститься, но только носомъ шмыгнула и засмѣялась.

— Сняли! За милую душу свели!— гудѣла толпа.—Свели!—Сведешь его!— Въ емъ, можетъ, тысяча пудовъ и безъ лошади-то!—Нѣтъ, это дѣло темное!

Автомобильщики наспѣхъ сѣли въ моторъ и наспѣхъ заковыляли по ухабамъ.

— За комиссарами поѣхали, дѣло темное, не иначе—въ Смольный!

Винтовочники, нѣкоторые, тоже спѣшно ушли, толпа осталась. Чего-то ждали.

— Слѣдственная комиссія должна прибыть,— горячился изящный пальтошникъ.—А съ этой толпой... ногами все затоптали, что и было. Какое безобразіе!

Туполицый молодецъ въ кожаной курткѣ, что стремился поближе (да и вся толпа стремилась, узя кольцо, мня снѣгъ и проваливаясь), достигъ. Чуть не до самого камня достигъ.

На него опять заорали.

— Да куды ты къ мордѣ къ самой слѣзешь? Чего? Осади, говорятъ!

— Онъ, гляди-ка, сзадѣ-то на камень норовить.

— Какой на камень! Не цапайся, эй! Еще того не плоше, на чужого коня, смотри, взгромоздится! Держи его! Вонъ комиссары ѣдутъ со слѣдствиемъ!

— И то ѣдутъ!

— Скоро обернулись!

По набережной опять тарактѣлъ автомобиль. Достигши камня курточникъ и, дѣйствительно, цапавшійся за него съ неизвестными цѣлями, дрогнувъ, отступилъ, куда-то провалился.

Школьникъ на всю площадь звонко закричалъ:

— Чего, ожегся? Туда и лѣтомъ-то не влѣзть!

— Я знаю!

Самое удивительное, что никто ни разу не выстрѣлил. Очень ужъ любопытствовали, некогда заниматься.

— Какіе комиссары? Ёдутъ?

— Ёдутъ! А не изъ Зимняго-ли которые? Они болѣе насчетъ памятникъ, спеціальныя. Смольныхъ предметы искусство не касаемо.

— Предметы! Много ты знаешь! Если грабежъ, это касаемо саботажа, что на Гороховой.

Споры смолкли, когда подтянулся моторъ и посыпались изъ него комиссары. Ихъ было что-то много. Всякихъ. И простыхъ, и съ винтовками. Всѣ-ли они комиссары—неизвѣстно, но на всякій случай толпа отодвинулась, съ опаской, и нишкнула. Иные, съ краевъ, поползли сторонкой прочь.

Были, очевидно, между комиссарами и касаемые къ предметамъ искусствъ. Эти сразу ввали въ столбнякъ, а потомъ пришли въ жалкое состояніе. Особенно два отличались, вызывая охи у сердобольныхъ бабъ.

— Ишь, болѣзнь, словно окатило его! Къ евоному дворцу, что-ль, приписанъ то былъ этотъ самый памятникъ? Али спросится съ его?

Комиссаръ путался въ длинной шубѣ, ежеминутно поправлялъ черепаховое рпсе-пез на черной, пречерной лентѣ,

цомъ, тоже надрывался; говорилъ, говорилъ, не останавливаясь и того не замѣчая.

— Это же не могло быть, это невозможно, это же невѣроятно!—стонать первый, а что говорилъ второй—не слушали.

Нахмурилась затихшая толпа. Незамѣтно опять наплывало, какъ туманъ, безглазое безпокойство. Новое. Незамѣтно переставало думаться о кражѣ, о восьми ловкачахъ съ моторомъ. До мотора-то его, не иначе, волокомъ волочь, а тутъ вездѣ снѣжищу и слѣдовъ этакихъ нѣтъ. Дыры есть, а волоку—ни-ни! Опять и сидѣние гладкое. Уздечка, словно кинутая, виситъ.

— Не свезти эдакого,—сказалъ кто-то задумчиво.—Гдѣ подступишься?

Шептались даже тѣ, съ винтовками, не разгоняя народъ, медля. Затихли и комиссары, замерли. Шушуканье шелестѣло, подымаясь и шурша тугими волнами, подымаясь и падая.

— Ш-ш-ш... Сташшили... Шутить... Сташшить его... Шагъ шагнулъ и крышишка... Ишши его... Ушелъ, не сташшили... Самъ ушелъ, и пошелъ, и пошелъ... И пошелъ, и пошелъ...

Шепоты, какъ шерстяные шары, шебаршили, ширились, ширились... И ужъ кто-то явственно кричалъ:

— Самъ ушелъ! Ушелъ Ушелъ! Ушелъ!

Комиссары сорвались съ мѣсть, кинулись въ зацовавшій моторъ. По опять радостная, облегченная найденнымъ словомъ толпа и забыла ихъ. Самъ ушелъ!

Какъ это самъ ушелъ? Все равно. Его нѣту, украсть не могли, невозможно, значитъ—ушелъ. Теперь важнѣе догадаться, зачѣмъ это онъ ушелъ, куда это ушелъ?

— Найдется!—съ убѣжденіемъ говорилъ круглолицый человекъ въ шинели.—Далеко не уйтить по морозу безъ сапоговъ.

— И одежда не такая!—подхватилъ другой.—А только насчетъ одежды и сапоговъ—это что! Ночью пойдетъ, кому встрѣтится—скидавай! Ну, эдакому очень просто, отдашь.

— Онъ себя покажетъ! Надоѣло глядѣть то. Сидѣлъ—сидѣлъ, терпѣлъ—терпѣлъ...

— Онъ расту громаднаго!—захлебываясь отъ восторга, вопилъ школьникъ.—Онъ всякаго и безъ револьвера ограбить. И навѣрно онъ въ флотскій экипажъ пошелъ, онъ, вѣдь, матросовъ любилъ! Навѣрно туда!

— А комиссары-то затряслись! Кѣкъ онъ ночью-то шастъ во дворцы-то, матросомъ-то... Товарищъ, товарищъ... Я вамъ товарищъ...

Нанерерывъ грохотали, глупо, сами не зная, чему радуясь, бадѣя.

Кривая баба клялась:

— А вотъ говорила я! Сразу же и говорю: какое! Слѣзъ ч. естъ—честью, темной ночью, и былъ таковъ. Самъ слѣзъ, оттого и знаковъ нѣту, переки-



снялъ, было, шапку высокимъ гречникомъ, обнаживъ лысину, опять надѣлъ, опять въ шубѣ запутался. Бормоталъ, какъ бы даже на иностранномъ діалектѣ, тонковатымъ голосомъ. Другой, вихлявый, молю траченный, съ измятымъ ли-

пулъ ножки, соскокнудь, да и пошелъ! И пошелъ.

Подпрыгивая, чтобъ быть выше, запытался какой-то черненькйй господничекъ въ разстегнутомъ пальто:

— Слушайте! Товарищи, Товарищи, говорю я! Да вы поймите! Да вѣдь это контр-революция, суевѣрие! Это простой грабежъ народного достоянія! Это будетъ преслѣдоваться...

— Вотъ онъ тебя попрослѣдуетъ...

— Товарищи! Черти! Да вѣдь современное сознание ку.....

Кто-то всунулъ господничку грязный палецъ въ ротъ, рогоча. Гудъ катался по толпѣ. Но вдругъ былъ проколотъ, словно иголкой, визгомъ дѣвчонки. Она подъ шумокъ тоже обѣжала сзади, поближе.

— Гляньте-ка! Дяденьки! Батюшки! Гляньте-ка подъ низомъ! Сейчас помереть—змѣя была! И змѣя уползла! На хвостѣ-то, гляньте!

Глянули: нѣту. Не всѣ помнили змѣю. Но всѣ повѣрили, что она была. И ея нѣту. Уползла.

Змѣя, собственно, дѣла не смѣняла—почему-жъ змѣѣ не уползти, разъ тотъ ушелъ? Но вотъ, со змѣей поползла на кучу людскую жуть, онѣмила языки,

захолодила виски. Уйти захотѣлось; и не то, что думать кто-нибудь: „вотъ, уйду“, а такъ, потащило врозь и прочь. Жуть ползала, вьась, невидная, какъ змѣя. Вѣдь и змѣи не было видно.

Не признавались, да п какъ? А впритайку, тишкомъ, одинъ за другимъ, никли, точно разливалась куча.

Безсловно жило въ каждомъ: „Чего ужъ! И змѣя уползла!“ Безсловно боялись, безсловно виноватились, — въ чемъ? Но уходили со скатыми плечами, будто ожидая удара,—за что? Ничего не знали, ничего не думали. Такъ. Жуть.

Школьникъ, мальчишка, отойдя ужъ за уголъ, немного опомнился и свистнулъ. На него сернито оглянулась женщина, оттуда-же поспѣшавшая.

— Тетка, а онъ спуска не дастъ, коли что. Ужъ пошелъ по городу гулять, и со змѣей еще,—такъ онъ..

— Молчи ты, гаденышъ!—рванула тетка.—И безъ тебя тошно! Господи, Никола милостивый! Молебень бы отслужить. Пвакуироваться бы штоль, да ходу не даютъ, шкелеты!

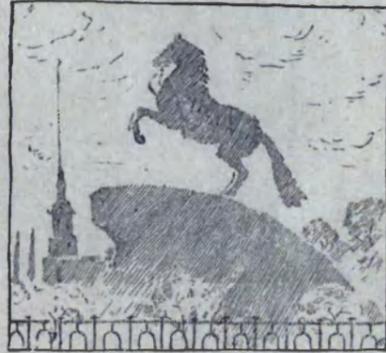
Мальчишка бросилъ ее, подпрыгнулъ и побѣжалъ; скользилъ съ ухабовъ. Ему опять было весело, отъ жути еще весе-

лѣе. Встрѣтятся бы вечеромъ? Издали бы увидеть? Онъ не уйдетъ нигуда отсюда. Самъ городъ состроишь—да изъ него эвакуируется? А надобно молча глядѣть—вотъ и пошелъ. Осматривать свой городъ. Небось, онъ имъ покажетъ!

Кому покажетъ и что именно—школьникъ не знаетъ, да и было не важно.

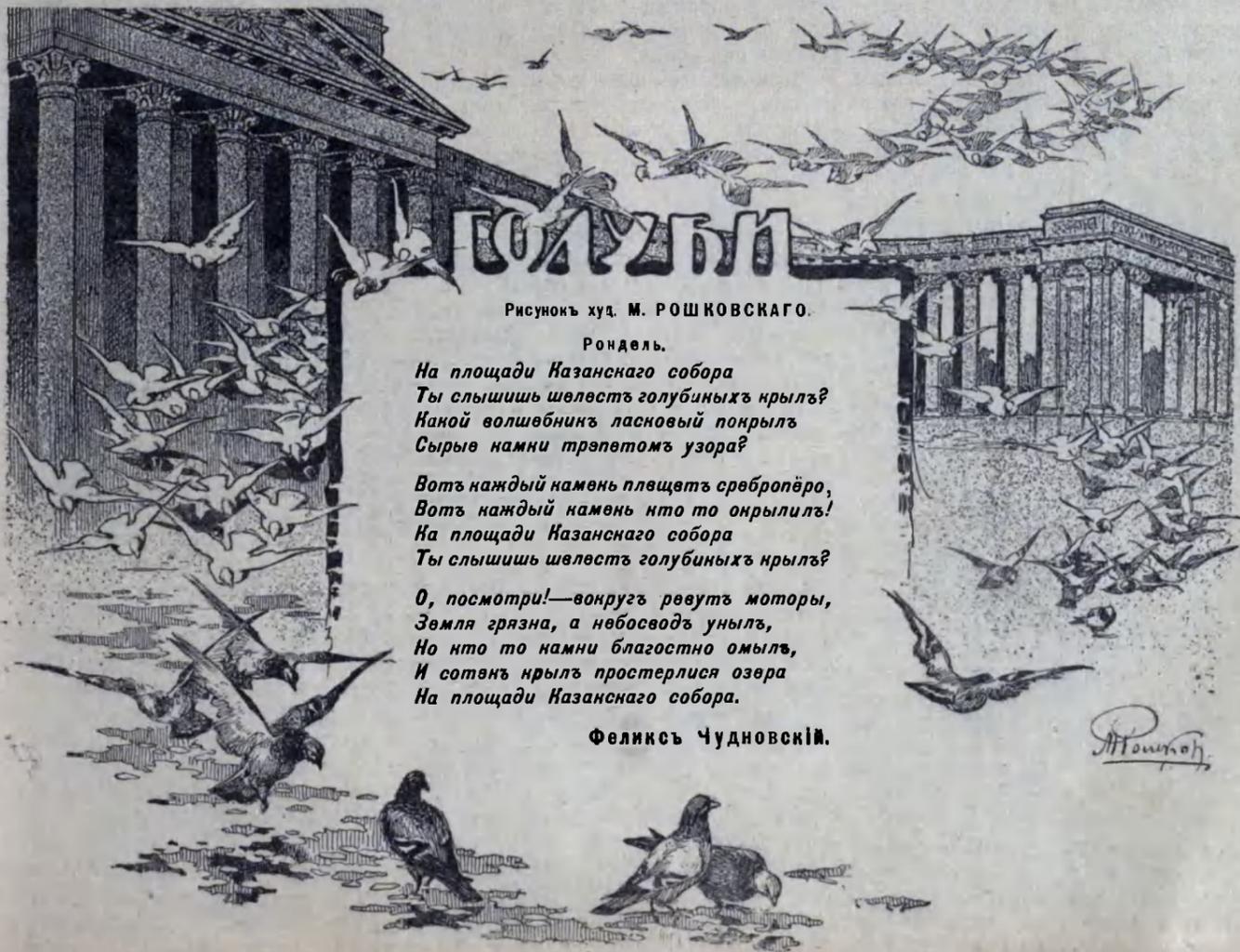
Было важно (для кого? для всѣхъ?), было важно, что тамъ, гдѣ въ пролетѣ площади съ каменнымъ равнодушьемъ смотритъ Исаакйй, четко чертился чернымъ на бѣломъ небѣ вздыбившййся конь—безъ всадника. Пустой.

И змѣя уползла.



Мѣдная длань Петрова, когда-то распростертая надъ любимымъ городомъ,—гдѣ ты сжимаешься? На кого ты опустишься?

3. Гиппиусъ.



Рисунокъ худ. М. РОШКОВСКАГО.

Рондель.

На площади Казанскаго собора
Ты слышишь шевельтъ голубиныхъ крылъ?
Какой волшебникъ ласковый покрылъ
Сырые намни трепетомъ узора?

Вотъ каждый камень плещетъ серебромъ,
Вотъ каждый камень кто то окрылилъ!
На площади Казанскаго собора
Ты слышишь шевельтъ голубиныхъ крылъ?

О, посмотри!—вокругъ режутъ моторы,
Земля грязна, а небосводъ унылъ,
Но кто то намни благостно омылъ,
И сотанъ крылъ простерлися озера
На площади Казанскаго собора.

Феликсъ Чудновскйй.